

НАДЕЖДА СОКОЛОВА



ПИРОЖКИ
С ВАРЕНЬЕМ
МАДАМ ПОПАДАНКИ

Надежда Соколова

**Пирожки с вареньем
мадам попаданки**

«Автор»

2026

Соколова Н. И.

Пирожки с вареньем мадам попаданки / Н. И. Соколова —
«Автор», 2026

Я - попаданка в магический мир, живу в полуразрушенной усадьбе вместе со слугами. И все, что у меня есть, - это яблочный сад перед домом, заросший и почти непригодный для восстановления. Почти, я сказала? Что ж, посмотрим, что тут можно сделать. Ведь я, попаданка, не привыкла сдаваться.

© Соколова Н. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	18
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Надежда Соколова

Пирожки с вареньем мадам попаданки

Глава 1

Пока снег не завалил усадьбу окончательно, мы работали — каждый день, с утра до темноты, торопясь успеть до настоящих холодов. Я просыпалась затемно, когда за окном ещё стояла серая мгла, густая и вязкая, как остывший кисель, и первое, что слышала, — это скрип половиц в сенях: кто-то уже встал, кто-то уже вышел, кто-то уже начал день. Этот скрип был для меня как колокол — не тревожный, а зовущий, напоминающий, что я не одна, что нас много, что дом дышит и движется вокруг меня, и от этого становилось тепло под одеялом, и хотелось встать, и хотелось быть частью этого движения. Дом жил своей жизнью, и эта жизнь была плотной, тёплой, наполненной звуками и запахами — до того плотной, что её можно было потрогать, вдохнуть, укутаться в неё, как в шаль.

Пахло дымом из печи — горьковатым, смолистым, с той особенной ноткой, которая бывает только у берёзовых дров, — хлебом, ещё горячим, с хрустящей коркой, который Астрид вынимала из печи и ставила на стол, присыпав мукой; молоком, парным, сладким, с запахом сена и коровьего тепла; травами Ирмы, которые она сушила под потолком — мятой, чабрецом, полынью, ромашкой, — и их аромат смешивался с дымом и хлебом, создавая что-то целительное, успокаивающее, что проникало в грудь и оставалось там; и яблоками — они лежали в ящиках в кладовой и в холодной, и их запах, сладкий и свежий, чуть кисловатый, как первое дыхание осени, пропитал весь дом, все стены, всю одежду, так что даже во сне я чувствовала его и улыбалась — улыбалась чему-то, чего не могла назвать, но что жило во мне как тихая, глубокая радость.

Дороги ещё держались — разбитые, грязные, но держались, и ярмарка в Вельдене шла каждую неделю, и мы возили туда всё, что могли, всё, что было сделано нашими руками, выращено нашей землёй, спасено нашим трудом. Варенье — в банках, залитых воском, чтобы не просочился воздух, чтобы сохранился вкус лета, густое, тёмное, вишнёвое и яблочное, и я знала, что каждая банка — это часы, проведённые у плиты, это руки, обожжённые паром, это терпение и любовь. Уксус — в бутылках, обёрнутых соломой, золотистый, прозрачный, с острым запахом, от которого щипало в носу. Пирог — горячие, укутанные в чистые холстины, ещё дышащие печью, с капустой, с яблоками, с мясом, и я знала, что по дороге они остынут, но всё равно будут пахнуть домом, и это было важно. Шарлотки — те самые, которые я пекла вместе с Астрид и Сигридом, по рецепту из другого мира, из моей прежней жизни, которую я уже почти не помнила — лица, голоса, улицы, — но вкус которой жил в моих руках, в моих пальцах, в том, как я замешивала тесто, как укладывала яблоки, как посыпала корицей, и иногда, когда я делала это, что-то сжималось в груди, и я не знала — от радости или от тоски. Яблоки — в мешках, переложённые соломой, крупные, жёлто-розовые, тяжёлые, с гладкой кожурой, которая блестела на солнце, и я перебирала их перед дорогой, откладывая каждое повреждённое, каждое с пятнышком, потому что на ярмарке всё должно было быть безупречно. Обратно везли муку — мешки тяжёлые, пыльные, с запахом зерна и мельницы; сахар — колотый, в бумажных пакетах, который мы берегли как сокровище; соль — крупную, серую, в холщовых мешках; масло — в бочонках, топлёное, с плотным, сытным запахом; ткань — шерстяную, льняную, разного цвета, которую Марта выбирала с особым вниманием, щупая каждую штуку; нитки, иглы, воск — всё, что было нужно, чтобы пережить зиму.

Гуннар ездил с телегой и волками — Хельге, Свен и Андерс сидели рядом, молчаливые, надёжные, их дыхание вырывалось паром, и их жёлтые глаза отпугивали всех, кто мог бы поза-

риться на наше добро — а такие были, я знала, такие всегда есть, когда где-то есть добро. Гвен правила второй телегой — она любила дорогу, любила ветер в лицо, любила чувствовать, что делает что-то важное, и я видела, как она выпрямляется на козлах, как улыбается, как что-то шепчет лошадям, и в эти минуты она была не служанкой, не беглянкой, а кем-то другим — свободным, сильным, настоящим. Бертран оставался дома — на нём были лошади, дрова и порядок во дворе, и он делал это так, как делал всё: молча, тщательно, без единого лишнего движения, и я знала, что если он сказал, что сделает, — сделает, и сделает хорошо, и можно не проверять, не волноваться, не думать. Марта считала каждый медяк — она сидела за столом с книгой, которую вёл Гуннар, и пересчитывала, проверяла, записывала, и её губы шевелились, и пальцы бегали по строкам, и иногда она хмурилась, иногда улыбалась, и я понимала, что она не просто считает — она думает, планирует, решает, как нам жить дальше, и от этого становилось спокойно. Фелина вела свою книгу — кладовую, запасы, расход, и она знала, сколько у нас муки, сколько крупы, сколько соли, сколько свечей, и могла сказать это в любой момент, не заглядывая в записи, потому что всё это жило в её голове, аккуратно разложенное по полочкам. Сальма проверяла счета, потому что умела считать лучше всех, и я видела, как она расцветает за этой работой: не просто дочь барона, не просто беглянка, а человек, который нужен, который важен, который делает дело, — и её глаза, обычно настороженные, становились мягче, и она улыбалась, и я думала, что вот оно, счастье, — быть нужной, быть полезной, быть частью чего-то большего, чем ты сама.

Дом жил размеренно, как хорошие часы — тик-так, тик-так, — и каждый звук, каждый запах, каждое движение были частью этого ритма, и я впервые за всё время чувствовала, что мы не просто выживаем — мы хозяйствуем, мы строим, мы создаём, и это было так важно, так нужно, так правильно, что я иногда останавливалась посреди двора, смотрела на дом, на дым из трубы, на волков у сарая, и что-то поднималось во мне — тёплое, большое, благодарное, — и я шептала про себя: «Спасибо, спасибо, спасибо».

Корову Гуннар привёл через неделю после разговора. Не одну — двух. Одну дойную, старую, спокойную, с мягкими глазами и тёплым боком — тёмно-каштановую, с белым пятном на лбу, с рогами, обточенными о стены хлева, с выменем, тяжёлым и полным, — и вторую, молодую тёлку, тонконогую, пугливую, с влажными глазами и шерстью, ещё не знавшей зимы, которую взяли в долг до весны, с выплатой после ярмарки. Я помню, как они вошли во двор: медленно, тяжело, с достоинством, как входят в дом, где их ждали, и снег под их копытами скрипел — сухо, звонко, по-зимнему, — и пар от их дыхания поднимался в морозном воздухе, и всё вокруг пахло по-другому: не дымом и хлебом, а чем-то древним, тёплым, живым, чем-то, что было раньше нас и будет после нас. Бертран подошёл к ним первым, положил ладонь на морду старшей — широкою, костистую, в трещинах и мозолях, — и она вздохнула: глубоко, спокойно, как будто узнала его, как будто ждала именно его, именно этой руки, именно этого прикосновения. Он сказал только: «Хорошие», — и это было всё, но в этом одном слове было больше, чем в иных речах: принятие, благодарность, обещание.

Я видела, как у него дрогнули руки — чуть-чуть, едва заметно, — и как он отвернулся, чтобы скрыть это, и как потом долго стоял у стены, глядя на коров, и что-то шевелилось у него в лице, что-то мягкое, почти нежное. Он любил животных. Он любил их больше, чем людей, может быть, потому что они не задавали вопросов — не спрашивали, откуда он, почему он здесь, что он сделал и что с ним будет, — они просто были рядом, тёплые, живые, верные, и этого было достаточно.

Коровы встали в сарае, в углу, отгороженном досками — мыльными, пахнущими смолой и морозом, — и я помню, как мы выбирали этот угол: самый защищённый от ветра, самый близкий к дому, чтобы слышать, если что-то случится, чтобы бежать, если позовут. Стоило мы сделали за два дня — натаскали соломы, золотистой, сухой, шуршащей под ногами; постелили, утоптали, чтобы было мягко и тепло; утеплили стены мхом — серым, бархатистым, который мы

собирали летом в лесу и сушили на чердаке; заделали щели — каждую, до последней, потому что знали, что зима придёт и найдёт любую дыру, любую трещину, любую оплошность. Я стояла в сарае, когда стойло было готово, и смотрела на коров, которые жевали сено — медленно, ритмично, с тем особенным спокойствием, которое бывает только у животных, знающих, что их накормят, — и думала: «Вот. Молоко. Масло. Сыр. Творог». Для пятнадцати — мало, я знала, что мало, что не хватит, что придётся делить, считать, экономить. Молоко — это жизнь. Это не роскошь. Это необходимость. Это то, что превращает выживание в жизнь, в существование, в надежду.

Я помню, как в первый вечер Бертран подоил корову — привычно, спокойно, как будто делал это всю жизнь, как будто руки сами знали, что делать, — и принёс в дом ведро молока. Парного. Тёплого. Пахнущего травой и солнцем — тем летом, которого уже не было, но которое жило в этом молоке, в этом запахе, в этом тепле. Астрид и Сигрид взяли его — осторожно, как берут что-то драгоценное, — и начали делать масло, творог, сыр, и их руки двигались быстро, уверенно, и лица были сосредоточенные, и я видела, как они улыбаются, не разговаривая, просто улыбаются тому, что делают, тому, что у них получается, тому, что это нужно. Тирра пила молоко каждый день — впервые в жизни, — и от этого щёки у неё порозовели, а глаза стали живыми, и она перестала вздрагивать от каждого звука, и начала смеяться — тихо, неуверенно, но смеяться. Я смотрела на неё и думала: «Вот ради чего. Ради этого. Ради того, чтобы ребёнок, который прошёл через огонь, через голод, через страх, снова улыбался. Ради того, чтобы у неё было молоко — каждый день, без страха, без счёта, без мысли о том, что завтра может не быть. Ради того, чтобы у нас всех было молоко». И я думала ещё: «Как мало нужно для счастья, как страшно мало, и как мы этого не замечаем, пока не потеряем, пока не пройдем через пустоту, через холод, через молчание».

Куры появились следом — двадцать штук, купленных у старосты Гнилых Ключей за яблоки и обещание денег весной, — пёстрые, беспокойные, с красными гребешками и жёлтыми лапами, которые они поджимали на снегу, и с тем особым куриным любопытством, которое заставляет их лезть всюду, где не надо. Курятник мы сколотили из старых досок — кривых, тёмных, пахнущих временем, — утеплили соломой, обмазали глиной, чтобы не дуло, и куры снеслись почти сразу: сначала по пять яиц в день, потом по десять, потом по пятнадцать, и я помню, как мы считали их — утром, днём, вечером, — и как радовались каждому, как будто это было золото, как будто это было чудо. Яйца пошли на стол, на продажу, на обмен — на муку, на соль, на нитки, — и я видела, как дом наполняется чем-то новым, чем-то, чего не было раньше: уверенностью, сытостью, покоем.

Я помню первое утро, когда Тирра нашла в гнезде яйцо — маленькое, тёплое, ещё в пуху, ещё влажное, — и прибежала ко мне, держа его в ладонях, как сокровище, как что-то хрупкое и бесценное. Она сказала: «Валентина, смотри! Оно тёплое!» И я взяла его, и оно действительно было тёплое — живое, настоящее, — и я почувствовала, как что-то сжалось у меня в горле, как что-то подступило к глазам, и я не знала, что сказать, потому что слова были слишком малы для этого момента, слишком бедны для этого чувства. Я просто держала это яйцо в ладонях, и оно согревало меня — не только руки, но и что-то глубже, что-то внутри.

Коза пришла последней — одна, белая, с длинной шерстью, свисавшей ключьями, как старая шаль, и с упрямым характером, который чувствовался сразу: в том, как она стояла, расставив ноги, в том, как смотрела — прямо, дерзко, не мигая, — в том, как дёргала головой, будто отгоняя не только мух, но и все наши попытки её приручить. Она давала литр молока в день — немного, но достаточно, — и молоко у неё было особенное: густое, с лёгкой горчинкой, с запахом полыни и чего-то дикого, свободного, что не вытравишь ни хлевом, ни сеном. Ирма сразу начала делать из него сыр — мягкий, солёный, с травами, которые она собирала сама и знала по именам, как знают старых друзей, — и этот сыр расходился быстрее, чем мы успевали его делать, и я видела, как Ирма улыбается, когда её хвалят, и как она смущается, и как прячет

улыбку в ладонях, но глаза её выдают. Шерсть мы пока не трогали — ждали весны, когда коза перелиняет, когда можно будет стричь, чесать, пряхать, когда можно будет сделать из этого что-то нужное, тёплое, живое. Я смотрела на козу и думала: ещё один рот. Ещё один источник. Ещё одна жизнь. И нас — пятнадцать. Пятнадцать человек, которые едят, пьют, дышат, хотят, боятся, надеются. Пятнадцать судеб, связанных в один узел, в один дом, в одну зиму. И мы — вместе. И мы — справляемся. И от этой мысли что-то поднималось во мне — тихое, упрямое, почти гордое, — и я думала: «Мы справимся. Мы уже справляемся. Мы будем справляться».

А параллельно я учила их готовить сидр. Безалкогольный — тот, что пьют дети, старики, все, кому нельзя вина, тот, что согревает зимой и освежает летом, тот, что пахнет яблоками и корицей и чем-то ещё, чему нет названия, но что живёт в памяти тела, в памяти детства, в памяти другого мира. Я помню, как в первый раз я выжала сок из яблок — руками, через тряпицу, — и мои пальцы онемели от холода и усилия, и сок стекал по коже, липкий, золотистый, и я чувствовала его запах — свежий, острый, живой, — и Астрид смотрела на меня с недоумением, склонив голову набок, как смотрят на что-то непонятное, но интересное. Она спросила:

— Зачем? Из яблок делают варенье. Из яблок делают уксус. Из яблок делают вино. Но сок? Зачем сок?

В её голосе было не недоверие, а любопытство — жадное, нетерпеливое, то самое, которое я так любила в ней, — и я видела, как она ждёт ответа, как она готова понять, как она хочет понять. Я ответила:

— Попробуй.

И она попробовала. Осторожно, недоверчиво, как пробуют незнакомое, — и её глаза расширились, и она замерла, и я увидела, как что-то прошло по её лицу — удивление, узнавание, радость, — и она произнесла:

— Это... это другое.

И я поняла: вот оно. Ещё одно, чего здесь не знают. Ещё одно, что я принесла из своего мира — из мира, который я почти не помнила, но который жил во мне, в моих руках, в моих вкусах, в моих привычках. Ещё одно, что мы можем продать — на ярмарке, на дороге, всем, кто захочет попробовать что-то новое, что-то тёплое, что-то, что пахнет домом. И я почувствовала, как что-то сжалось у меня в груди — не боль, а благодарность, — потому что даже здесь, даже в этом мире, даже после всего, что было, я могла что-то дать, чему-то научить, что-то оставить после себя.

Мы брали самые спелые, самые сладкие яблоки — тяжёлые, с гладкой кожурой, с тем особым блеском, который бывает только у яблок, созревших на солнце, — выжимали из них сок через деревянный пресс, который сделал Хельге, и пресс был грубый, простой, но работал исправно, и я видела, как Хельге смотрит на него, когда мы проходим мимо, — с тихой гордостью, с тем удовлетворением, которое бывает у человека, сделавшего что-то своими руками и знающего, что это нужно. Потом мы варили сок с мёдом — густым, тёмным, пахнущим цветами и летом; с корицей — коричневой, хрупкой, острой; с гвоздикой — чёрными гвоздиками, похожими на маленькие гвозди, которые вбивают в тесто, в вино, в память; с травами Ирмы — мятой, чабрецом, чем-то ещё, чему я не знала названия, но что пахло так, будто само лето вошло в дом. Варили долго, на медленном огне, помешивая, чтобы не пригорело, и я стояла у печи и смотрела, как поднимается пар — белый, густой, пахнущий яблоками и специями, — как темнеет сок, становясь из золотистого янтарным, из янтарного — тёмно-медовым, — как расходится по дому запах: сладкий, пряный, тёплый, — и как от этого запаха просыпается что-то в душе, что-то древнее, что-то, что знает: зима будет долгой, но мы переживём. Астрид и Сигрид стояли рядом — плечом к плечу, как стоят сёстры, как стоят те, кто прошёл через одно и то же, — смотрели, запоминали, впитывали. Они были хорошими ученицами — быстрыми, внимательными, жадными до нового. Они хотели знать всё. Они хотели уметь всё. Они

хотели быть полезными — и в этом желании было что-то такое чистое, такое отчаянное, такое человеческое, что я не могла отказать, не могла не учить, не могла не отдавать всё, что знала.

И я учила их. Потому что я тоже хотела, чтобы они умели. Потому что я хотела, чтобы это осталось — после меня, без меня, — чтобы это жило в их руках, в их памяти, в их детях, если будут дети, в их жизни, если будет жизнь. Я учила их и думала: «Вот оно, бессмертие. Не в книгах, не в памятниках, не в именах — в руках, которые умеют, в памяти, которая хранит, в любви, которая передаётся».

Через неделю сидр был готов — прозрачный, золотистый, как застывший солнечный свет, с лёгкой кислинкой, которая щипала язык, и медовым послевкусием, которое оставалось во рту долго, тёплое, обволакивающее, как воспоминание о лете. Первую бутылку мы открыли в тот же вечер, за столом — длинным, тёмным, отполированным сотнями локтей и сотнями лет, — и я помню, как пробка вышла с тихим хлопком, как забулькала жидкость, как разлилась по кружкам, и как все замолчали — на секунду, на одну только секунду, — потому что запах был незнакомый, новый, обещающий. Тирра попробовала первой — маленький глоток, потом ещё, потом ещё, — и её лицо изменилось: глаза стали круглыми, губы растянулись в улыбку, и она сказала, тихо, почти шёпотом, но так, что слышали все:

— Это лучше варенья. Это лучше всего.

И я смотрела на неё — на эту девочку, которая прошла через огонь, через голод, через страх, — и видела, как она пьёт что-то сладкое, что-то тёплое, что-то, что сделали мы сами, своими руками, для неё, для всех, — и что-то поднималось во мне, большое и светлое.

Сидр пошёл на продажу — в Вельдене его не знали, и он расходился быстрее, чем мы успевали его делать: пекари, которые приходили за шарлотками, брали и сидр, сначала по одной бутылки, потом по две, потом по три; купцы, которые брали яблоки, брали и сидр, и я видела, как они пробуют его тут же, на месте, и как их брови поднимаются, и как они достают кошельки, не торгуясь, потому что понимают: это что-то новое, что-то редкое, что-то, что можно продать дороже; женщины, которые брали варенье, брали и сидр, и я слышала, как они обсуждают его между собой — восхищённо, удивлённо, — и как они обещают прийти ещё, и как они рассказывают о нём другим, и как имя нашего дома начинает жить своей жизнью, отдельной от нас, в чужих разговорах, в чужих домах, в чужих воспоминаниях.

К концу осени у нас было двенадцать больших бутылей в холодной — тёмных, стеклянных, покрытых изнутри золотистой влагой, — и ещё двадцать маленьких, на продажу и на зиму, и я ходила туда иногда, в холодную, и смотрела на них, и трогала стекло — холодное, гладкое, надёжное, — и думала: «Это наше. Это мы сделали. Это останется». Марта говорила, подводя итоги, считая, проверяя:

— Это золото. Жидкое золото. Мы продадим его весной, и хватит на всё.

И я видела, как она улыбается, как блестят её глаза, как она записывает цифры в книгу — аккуратно, ровно, с той тщательностью, которая была её способом любить нас, — и я понимала, что она права: хватит на всё. На муку, на соль, на сахар, на ткани, на иглы, на воск, на всё, что нужно, чтобы прожить ещё одну зиму, ещё один год, ещё одну жизнь.

К настоящему снегу мы успели всё, что планировали. Коровы стояли в сарае — тёплые, сытые, спокойные, — и от них шёл пар, и пахло молоком и сеном, и я знала, что они переживут зиму, и что молоко будет, и что дети будут пить его каждый день. Куры неслись — исправно, щедро, — и яйца лежали в корзинах, гладкие, тёплые, разных оттенков: белые, кремовые, коричневые, — и я иногда брала одно в руку и держала, чувствуя его тяжесть, его тепло, его жизнь. Коза давала молоко — упрямая, своенравная, но верная, — и Ирма делала сыр, и сыр этот пах травами и свободой, и я знала, что зимой, когда всё будет белым и тихим, этот запах будет напоминать нам о лете.

Сидр созревал в холодной — тёмный, густой, живой, — и я знала, что он будет становиться лучше, глубже, богаче, и что весной, когда мы откроем первую бутылку, это будет

не просто напиток, а время, прожитое нами, труд, вложенный нами, любовь, отданная нами. Лошадей стало четыре, и Бертран чистил их всех каждое утро — молча, тщательно, с той нежностью, которую он не показывал людям, но которая была видна в каждом его движении, — и я смотрела на него иногда из окна и думала: вот человек, который нашёл свой язык. Дров было столько, что поленница выросла до крыши — ровная, плотная, золотисто-коричневая, как стена, — и я знала, что её хватит на всю зиму, на все морозы, на все метели. В кладовой стояли мешки с мукой и крупой, банки с вареньем и сидром, горшки с мёдом и маслом, и я ходила туда иногда и просто смотрела — на изобилие, на порядок, на достаток, — и что-то успокаивалось во мне, что-то, что боялось голода, что помнило пустоту, что знало цену каждой крошке. В холодной висели окорока — тёмные, плотные, покрытые солью и временем, — лежали сыры — круглые, тяжёлые, в воске, — стояли бутылки — ряд за рядом, как солдаты, как стражи, как обещание. В доме было тепло — окна утеплены, дверь обита, печка топилась, — и я чувствовала это тепло не только кожей, но и чем-то глубже, чем-то внутри, и думала: вот оно. То, чего мы хотели. То, ради чего работали. Люди были сыты, одеты, обуты — и я знала каждого, знала, что у них болит, чего они боятся, о чём мечтают, — и я любила их всех, по-разному, но любила, и это тоже было частью тепла. Сальма читала книгу — сидела у окна, склонив голову, шевеля губами, и на её лице было спокойствие, которого я не видела раньше, и я понимала, что она нашла своё место, своё дело, свою жизнь. Фелина вела счёт — аккуратно, тщательно, с той серьёзностью, которая делала её взрослой, — и я видела, как она гордится этим, как она нужна, как она важна. Ивар лечил — у него были травы, настойки, мази, и он знал, что делать, и люди шли к нему, и он помогал, и я думала, что это тоже чудо — уметь лечить, уметь возвращать здоровье, уметь давать надежду. Астрид и Сигрид пекли — их руки были в муке, их лица были сосредоточены, их пироги были произведением искусства, и я знала, что это они делают с любовью, и что любовь чувствуется в каждом куске. Хельге, Свен и Андерс чинили всё, что можно было починить, — крышу, забор, сани, упряжь, — и их руки были грубые, но умелые, и их молчание было полно смысла. Гуннар писал письма и вёл дела — он сидел за столом, склонившись над бумагами, и перо скрипело, и чернила ложились ровно, и я знала, что он делает это для нас, для дома, для будущего. Гвен ходила в лес — она возвращалась с хворостом, с грибами, с ягодами, с чем-то ещё, что находила, — и её щёки были красные от мороза, и глаза блестели, и я видела, что лес даёт ей то, чего не давали люди: свободу, покой, одиночество, которое не ранит. Бертран молчал — он всегда молчал, — но его молчание было не пустым, а полным: оно было полно работы, полно заботы, полно любви, которую он не умел выражать словами, но умел выражать делами. Марта командовала — и я знала, что без неё всё бы рассыпалось, что она держит нас всех вместе, своей волей, своей строгостью, своей любовью, которую она прятала под ворчаньем. Тирра смеялась — и это было самым важным, самым главным, самым светлым, — и я слышала её смех, и что-то оттаивало во мне, что-то, что замёрзло давно, что боялось смеяться, что боялось радоваться, что боялось жить.

А я стояла на крыльце, смотрела на белый двор — чистый, нетронутый, искрящийся на солнце, как сахар, — на дым из труб — серый, ровный, поднимающийся в небо спокойно и уверенно, — на сад, спящий под снегом — деревья стояли голые, чёрные, но я знала, что под снегом, под корой, под землёй живёт жизнь, ждёт весны, готовится, — и думала: вот оно. То, ради чего мы работали. Не просто выживание. Не просто еда. А вот это — тепло, порядок, достаток, покой. Дом, полный людей. Земля, которая кормит. Дело, которое растёт. И сидр, которого здесь не знали, а теперь — узнают. И я улыбнулась — не кому-то, а просто так, себе, миру, этому утру, — и пошла в дом. Там ждали чай, пирог и пятнадцать человек, которые стали мне семьёй. И я шла к ним, и с каждым шагом чувствовала, как что-то во мне становится на место, как что-то заживает, как что-то растёт — тихое, тёплое, живое. И я открыла дверь, и вошла, и села за стол, и взяла чашку, и отпила, и посмотрела на них — на всех, кто был

рядом, — и подумала: «Спасибо. Спасибо за это. За всё. За то, что мы вместе. За то, что мы справились. За то, что мы живём».

Глава 2

Снег пошёл в конце месяца и не прекращался уже третьи сутки. Он валил густо, тяжело, без ветра, ровными белыми хлопьями — крупными, мягкими, как пух, как перо, как что-то невесомое, что падает и падает, без конца, без начала, — и к утру двор снова был завален по колено, а дорога к тракту исчезла совсем: её не было видно, только белое поле, сливающееся с белым небом, и нельзя было понять, где кончается земля и начинается небо, где проходит дорога и где — сугроб, где — реальность и где — сон. Морозы стояли слабые, но постоянные: минус пять, минус семь, иногда минус десять, — и от этого снег не таял, а ложился слой за слоем, утрамбовывался, становился плотным, тяжёлым, как войлок, и я чувствовала, как мир сжимается, как пространство сужается, как остаётся только это — дом, двор, сарай, колодец, — и всё остальное становится далёким, недоступным, почти нереальным.

Дороги замело. Ярмарка в Вельдене закрылась до весны — я знала, что это правильно, что так и должно быть, что зимой здесь все сидят по домам, — но всё равно что-то сжалось во мне, когда я поняла, что мы отрезаны, что мы одни, что если что-то случится — не будет ни помощи, ни лекарств, ни людей. Деревни отрезало — Гнилые Ключи, все, кого мы знали, — и я думала о них иногда, о старосте, о пекарях, о купцах, о женщинах, которые брали у нас варенье, — и надеялась, что у них всё хорошо, что у них есть еда, что у них есть дрова, что они переживут. Мы сидели дома. И это было странно — после месяцев работы, движения, дороги, — сидеть и ничего не делать, или делать что-то медленное, неспешное, необязательное. Я не сразу привыкла. Я не сразу поняла, что это не безделье, а другой ритм, другая жизнь, другое время.

И дом жил. Не так, как летом — шумно, суетливо, полно движения, — а иначе. Медленно. Глубоко. Внутри. Я впервые за всё время почувствовала, что дом — это не просто стены и крыша, не просто место, где мы едим и спим, не просто укрытие от холода. Это — пространство, в котором люди живут не потому, что надо, а потому, что хотят: хотят быть здесь, хотят быть вместе, хотят просыпаться под этой крышей и засыпать под ней, хотят видеть эти лица, слышать эти голоса, чувствовать это тепло. И каждый в этом доме нашёл своё — не то, что ему дали, а то, что он выбрал, — и я видела это, и что-то во мне радовалось, тихо и глубоко.

Марта устроилась в кладовой. Она сидела там часами — с книгой, с пером, со счётами, — и я знала, что она не просто считает, а живёт там, в этих цифрах, в этих записях, в этом порядке. Пересчитывала мешки — тяжёлые, пыльные, пахнущие мукой и зерном; банки — стеклянные, звенящие, полные варенья и сидра; горшки — глиняные, тёмные, с мёдом и маслом. Записывала, сколько ушло, сколько осталось, сколько надо — на месяц, на два, до весны, — и я видела, как её рука движется по бумаге, ровно, уверенно, без сомнений. Иногда я заходила к ней — просто постоять, посмотреть, ничего не сказать, — и она поднимала голову, кивала, и снова утыкалась в книгу, и я знала, что она не сердится, что она просто занята, что она делает что-то важное. И я видела, что ей хорошо. Что это — её место. Что она не просто считает еду. Она считает нашу жизнь. Нашу зиму. Наше будущее. Она держит нас всех в порядке, в равновесии, в безопасности — своими цифрами, своей памятью, своей твёрдостью, — и от этого у неё на душе спокойно, и от этого у меня на душе спокойно, и я думала: вот человек, который нашёл себя не в словах, а в деле, не в чувствах, а в порядке, и это тоже любовь, просто другая.

Гвен точила ножи. Она делала это почти каждый день — сидела у печи, на низкой скамейке, водила камнем по лезвию, — и в доме стоял ровный, шипящий звук: вж-ж-ж, вж-ж-ж, — как дыхание, как шёпот, как что-то живое. Она точила ножи, которые мы купили, — длинные, тяжёлые, с тёмными ручками, — и ножи, которые сделал Хельге, — грубые, простые, но острые, — и серпы, и топоры, и всё, что можно было наточить, всё, что имело лезвие, край, грань.

Я спросила её однажды — тихо, чтобы не нарушить этот ритм, эту медитацию:
— Зачем? Мы же не воюем.

Она посмотрела на меня — спокойно, без улыбки, но и без тени, — и ответила:

— Не воюем. Но если придётся — у нас всё готово. И вообще, — она улыбнулась, и улыбка была лёгкая, почти нежная, — мне нравится. Камень, сталь, вода. Это успокаивает.

И я поняла: она не просто точит ножи. Она точит себя. Свои страхи, свою тревогу, свою память — о том, что было, о том, что могло бы быть, о том, что никогда не должно повториться. Она готовится — не к войне, а к жизни, — и в этом была такая сила, такая воля, такое спокойствие, что я позавидовала ей — тихо, без горечи, просто отметив: вот человек, который умеет быть готовым. И я ушла, и оставила её с камнем и сталью, и звук вж-ж-ж следовал за мной, как обещание: мы справимся. Мы всегда справимся. У нас всё готово.

Сальма читала. Она нашла в дальней комнате старые книги — те, что остались от прежних хозяев, — и теперь читала их одну за другой, медленно, вдумчиво, как пьют воду после долгой жажды. Я видела, как она сидит у окна — в кресле с продавленным сиденьем, с пледом на коленях, — с книгой на коленях, и на лице у неё — выражение, которого я не видела раньше. Спокойное. Сосредоточенное. Счастливое, может быть — тихо счастливое, без улыбки, без слов, просто светлое, просто живое. Книги были старые: с пожелтевшими страницами, с потёртыми корешками, с запахом пыли и времени, с чужими пометками на полях — чьи-то мысли, чьи-то вопросы, чьи-то жизни, — и она водила пальцем по строкам, и губы её шевелились, и иногда она останавливалась, и смотрела в окно, и думала — о чём-то своём, о чём-то далёком, о чём-то, что было и что могло бы быть. Однажды она сказала — не мне, а скорее себе, но я услышала:

— Я не знала, что можно читать просто так. Для себя. Не для того, чтобы что-то узнать, а чтобы... — она запнулась, подбирая слово, и я видела, как она ищет его, как оно вертится на языке, не даваясь, — ...чтобы побыть с кем-то. С автором. С героями. С миром, которого нет.

— Можно, — сказала я. — Так и надо.

Она кивнула — коротко, благодарно, — и вернулась к книге, и я поняла: она впервые в жизни делает то, что хочет. Не то, что велят — отец, муж, общество, долг. Не то, что положено — баронессе, дочери, женщине. А то, что хочется — просто так, для себя, без цели, без пользы, без оправданий. И это — хорошо. И это — важно. И я думала: вот ещё одно, что мы ей дали. Не еду, не тепло, не безопасность — хотя и это тоже, — а право на тишину, на книгу, на себя. Право быть не кем-то, а просто собой.

Ивар занимался своими инструментами. Он раскладывал их на столе — длинном, тёмном, у окна, — и они блестели на свету: скальпели, острые, тонкие, как иглы; ножницы, изогнутые, с длинными ручками; иглы, разные, от толстых до тонких, как волос; зажимы, блестящие, холодные, точные. Он чистил их, смазывал, проверял, дышал на них, протирал замшей, — и делал это медленно, тщательно, как делают люди, которые любят своё дело, которые знают, что от этого зависит жизнь, что ошибка может стоить слишком дорого. Иногда он заходил ко мне — послушать, как я дышу, посмотреть горло, проверить, не вернулась ли простуда, — и его руки были тёплые, сухие, уверенные, и его глаза были внимательные, спокойные, без тревоги, но с заботой. И каждый раз он говорил — ровно, без нажима, но с той настойчивостью, которая была его способом проявлять любовь:

— Ты ещё слабая. Отдыхай. Не работай много.

— Я и не работаю, — отвечала я. — Я живу.

— Это и есть работа, — говорил он. — Жить зимой. Это — самое трудное.

И я думала: он прав. Жить зимой — трудно. Не потому, что холодно или голодно, а потому, что темно, потому что долго, потому что нужно чем-то заполнить пустоту, нужно найти смысл в том, чтобы просто быть, просто дышать, просто ждать. И я видела, что он нашёл —

в инструментах, в порядке, в деле, — и что это держит его, как держит нас всех что-то своё: Марту — счёты, Гвен — камень, Сальму — книга, Астрид и Сигрид — тесто.

Астрид и Сигрид пекли. Каждый день — не потому, что надо, а потому, что хотели, потому что это было их, потому что в этом они были собой. Они пекли хлеб — тяжёлый, тёмный, с хрустящей коркой, от которого шёл пар, когда его резали; пироги — с яблоками, с капустой, с мясом, с чем-то ещё, что они придумывали сами, пробовали, ошибались, находили; шарлотки — те самые, по моему рецепту, но уже с их поправками, с их душой; лепёшки — тонкие, мягкие, которые ели горячими, с маслом, с мёдом; печенье с мёдом — маленькое, золотистое, хрустящее, которое таяло во рту и оставляло после себя сладость и тепло. Дом наполнялся запахами — тёплыми, сладкими, живыми, — и эти запахи были как дыхание дома, как его голос, как его сердце, которое бьётся ровно и спокойно. Я заходила на кухню, садилась на табурет — низкий, скрипучий, у печи, — и смотрела, как они работают. Как Астрид раскатывает тесто — тонко, ровно, быстро, и мука летит в воздух, и руки двигаются уверенно, как будто сами знают, что делать. Как Сигрид выкладывает начинку — аккуратно, щедро, с той любовью, которая видна в каждом движении, в каждом кусочке. Как они переговариваются — тихо, по-своему, на языке, которого я не понимала, но который звучал как музыка, как песня, как что-то древнее и родное.

Однажды Астрид сказала — не поднимая головы, не отрываясь от теста:

— Мы никогда так не жили. У купца было много работы, но мало радости. А здесь работы не меньше, но радость есть. Почему?

— Потому что здесь — своё, — сказала я. — Свое — всегда радость.

Она подумала — я видела, как она подумала, как слова прошли через неё, как отложились где-то внутри, — потом кивнула и вернулась к тесту. И я поняла: она согласна. И я поняла ещё: вот оно, то, что я хотела им дать. Не рецепты, не умения, не навыки — хотя и это тоже. А вот это — чувство, что ты делаешь своё, что это твоё, что ты не просто выполняешь чужую волю, а живёшь свою жизнь. И от этого — радость. Не громкая, не бурная, а тихая, глубокая, надёжная. Радость, которая остаётся, когда всё остальное уходит.

Фелина, Мариэль и Тирра занимались домом. Они подметали — широкими, шуршащими метлами, и пыль поднималась в воздух, и оседала на свету, и была похожа на золотую пыльцу; мыли — полы, окна, посуду, — и вода в тазах становилась серой, а потом выливалась во двор, и на снегу оставались тёмные пятна, которые тут же затягивались новым снегом; стирали — простыни, рубахи, полотенца, — и мокрое бельё висело у печи, и от него шёл пар, и пахло мылом и чистотой; чинили — то, что порвалось, то, что разошлось, то, что требовало рук и терпения; убирали — всё, что надо было убрать, всё, что надо было привести в порядок, всё, что надо было сделать, чтобы дом оставался домом. Они делали это тихо, слаженно, без суеты — как делают люди, которые знают друг друга давно, которые понимают друг друга без слов, которые работают не потому, что заставляют, а потому, что хотят. Тирра подросла за последние недели — я видела это по тому, как она вытянулась, как порозовели её щёки — из бледных, восковых, стали тёплыми, живыми, — как она стала улыбаться чаще, как в её глазах появилось что-то, чего не было раньше: не страх, не настороженность, а любопытство, интерес, может быть — доверие. Она больше не дрожала. Она больше не пряталась за спины. Она больше не молчала. Она пела — тихо, себе под нос, когда работала, — и я слышала это пение и замирала, потому что это было чудо, настоящее чудо: ребёнок, который прошёл через огонь, через голод, через страх, снова поёт.

Хельге, Свен и Андерс сидели в своей пристройке — тёмной, тесной, пахнущей шерстью и дымом, — или во дворе, если было не слишком холодно: они не боялись холода, но я видела, что им приятно тепло, что они ценят его, что они знают ему цену. Они чинили — телеги, упряжь, забор, крышу, всё, что можно было починить, всё, что ломалось, всё, что требовало рук, — и их руки были грубые, сильные, умелые, и они работали молча, как всегда, и их жёл-

тые глаза светились в полумраке, как угли, как что-то древнее, дикое, но не страшное — верное, надёжное, своё. Иногда Хельге заходил в дом — погреться, поесть, посидеть у огня, — и садился у печи, на низкую скамейку, и смотрел на огонь, и его лицо становилось другим: мягче, спокойнее, почти человеческим. Я спросила его однажды — тихо, чтобы не нарушить тишину, чтобы не спугнуть это:

— Ты счастлив?

Он посмотрел на меня. Долго — так долго, что я подумала, что он не ответит, что он не знает, что он не понимает вопроса. Потом сказал — медленно, подбирая слова, как будто они были чужими, как будто он учился говорить заново:

— Я не знаю, что это слово значит. Я вырос в лесу. Я не знал дома. Я не знал тепла. Я не знал, что люди могут жить так. — Он обвёл рукой комнату — стол, людей, печку, окна, за которыми был снег, — и я увидела, как его рука дрогнула, как что-то прошло по его лицу, что-то, что он не умел назвать, но что было. — Теперь знаю. И это... — он запнулся, и я увидела, как он ищет слово, и как слово не находится, и как он берёт другое, ближайшее, — это лучше, чем лес. Лучше, чем холод.

— Тогда это и есть счастье, — улыбнулась я.

— Может быть, — задумчиво произнёс он. — Может быть.

И я поняла: он не знает, что такое счастье, потому что никто никогда не давал ему этого слова, не показывал, не объяснял. Но он знает, что такое тепло, что такое дом, что такое — быть нужным. И этого достаточно. И это — больше, чем у многих.

Бертран был на конюшне. Он уходил туда утром — рано, до света, когда дом ещё спал, — и возвращался вечером, когда темнело, когда зажигали лампы, когда садились за стол. Он чистил лошадей — медленно, тщательно, с той нежностью, которую не показывал людям, но которая была видна в каждом движении его рук, в том, как он гладил их по морде, по шее, по спине, — кормил их, поил, разговаривал с ними: тихо, на языке, которого я не понимала, но который лошади понимали, потому что они слушали, потому что они поворачивали головы, потому что они отвечали ему — движением, дыханием, взглядом. Он делал это каждый день, без выходных, без перерывов, без усталости — или с усталостью, но с той усталостью, которая не разрушает, а укрепляет, которая не отнимает, а даёт. И я знала, что там, в конюшне, среди лошадей и коров, среди соломы и сена, среди тепла живых тел и запаха молока, он — дома. Больше, чем в доме. Больше, чем где-либо. Там он мог молчать — по-настоящему молчать, — и никто не требовал от него слов, никто не ждал ответов, никто не заглядывал в глаза. Там он мог быть собой — просто собой, — и этого было достаточно. Я не мешала ему. Я просто знала, что он вернётся к вечеру — усталый, тёмный, но спокойный, — сядет у печи, возьмёт в руки какую-нибудь работу — починить, вырезать, подшить, — и будет молчать, и его молчание будет полным, тёплым, живым, и я буду смотреть на него, и думать: «Вот человек, который нашёл своё место. Не дом, не семью, не людей — лошадей. И это — хорошо. И это — правильно. И это — тоже любовь, просто другая».

Гуннар занимался бумагами. Он сидел за столом — большим, тёмным, заваленным листами, — и писал письма, вёл счета, составлял планы, и перо в его руке двигалось ровно, уверенно, без остановок, как будто само знало, что писать. Он готовился к весне — к ярмарке, к оброку, к поездкам по деревням, — и я видела, как он работает, как хмурится, как что-то бормочет себе под нос, как перечитывает написанное, как откладывает лист и берёт новый, и думала: он — мозг дома. Без него мы бы не справились. Он — тот, кто знает законы — все эти параграфы, статьи, оговорки, которые я не понимала и не хотела понимать, но которые решали всё; кто умеет говорить с чиновниками — вежливо, твёрдо, с той особой интонацией, которая не оставляет выбора; кто держит в голове все цифры и все даты — когда платить, когда ехать, когда ждать, когда действовать. Он — тот, кто сделал нас — законными. Не беглецами, не самозванцами, не людьми без имени, а хозяевами, владельцами, гражданами. Он — тот,

кто защищает нас — бумагами, печатями, подписями, — и я знала, что эти бумаги стоили ему ночей, усилий, может быть — унижений, и что он никогда об этом не расскажет, потому что это не в его характере. И я была ему благодарна. Больше, чем могла сказать. Больше, чем умела выразить. И иногда, проходя мимо, я клала руку ему на плечо — на секунду, на мгновение, — и он поднимал голову, и кивал, и снова возвращался к бумагам, и я знала, что он понял.

Ирма перебирала травы. Она сидела в углу — в своём углу, у окна, где было больше света, — с пучками сушёных листьев, и разбирала их, связывала, подписывала, и её пальцы двигались быстро, точно, как у человека, который делает это всю жизнь и не может делать иначе. Она делала мази — густые, пахнущие воском и травами; настойки — в тёмных бутылках, с плотными пробками; отвары — в глиняных горшках, которые потом остывали на окне, и их запах расходился по дому, горький, целебный, живой. Она лечила — всех, кто нуждался: у кого болела голова, у кого не заживала рана, у кого не проходил кашель, у кого что-то ныло внутри, — и она знала, что делать, и её руки были тёплые, спокойные, уверенные, и от одного её прикосновения становилось легче. Она была — тихая, незаметная, но без неё дом бы рухнул. Потому что здоровье — это основа. Потому что трава — это лекарство. Потому что Ирма — это Ирма: не громкая, не яркая, не требующая внимания, но необходимая, как воздух, как вода, как земля под ногами.

А я — я ходила между ними. Смотрела. Слушала. Иногда помогала — где не хватало рук: подержать, поднести, подшить, — и чувствовала, что нужна, что полезна, что не просто существую, а живу. Иногда просто сидела — у окна, с чашкой чая, — и смотрела на снег, и снег шёл, день за днём, ровный, белый, бесконечный, и я думала: вот оно. То, ради чего мы работали. Не просто выживание. Не просто еда. А вот это — тепло, покой, тишина, люди. Дом, полный жизни. Дом, в котором каждый на своём месте. Дом, который живёт сам. Без меня. Даже когда я болею. Даже когда я слабая. Даже когда я просто сижу и смотрю в окно. И от этой мысли мне становилось не грустно, а легко — потому что это значит, что мы сделали что-то настоящее, что-то, что останется, что-то, что не зависит от одного человека. И я улыбалась, и пила чай, и смотрела на снег, и слушала дом — его дыхание, его шорохи, его голоса.

Вечером мы собирались за столом — все пятнадцать. Стол был длинный, но не настолько, и мы сидели тесно — плечом к плечу, локтем к локтю, — и от этой тесноты было тепло, как от печки, как от шубы, как от чего-то живого, что дышит рядом. Ели — кашу, густую, сытную, с маслом, которое таяло и растекалось золотистыми лужицами; похлёбку — горячую, наваристую, с кореньями и травами, от которой шёл пар и запотевали окна; хлеб — тёмный, тяжёлый, с хрустящей коркой, который мы ломали руками, потому что так вкуснее; пироги — с яблоками, с капустой, с чем-то ещё, что Астрид и Сигрид придумывали сами и не говорили, что это, чтобы было интереснее. Пили — чай, тёмный, крепкий, с мёдом; сидр, золотистый, с кислинкой и медовым послевкусием; молоко, парное, сладкое, с запахом сена и лета.

Говорили — о разном, о всяком, о том, что не имеет значения и что имеет всё значение. О том, что снег идёт третий день — и не кончается, и двор завален, и дороги нет. О том, что дороги замело — и мы отрезаны, и это странно, и это страшно, и это спокойно одновременно. О том, что весна — далеко — и это долго, и это трудно, но мы справимся. О том, что корова даёт молоко — каждый день, исправно, щедро, — и что от этого у Тирры порозовели щёки. О том, что куры несутся — по пятнадцать яиц, иногда больше, — и что яйца лежат в корзинах, тёплые, гладкие, разные. О том, что сидр готов — двенадцать бутылей в холодной, двадцать маленьких, — и что весной это будет золото. О том, что Тирра выросла — за зиму, за месяц, за эти недели, — и что она больше не дрожит, и что она поёт. О том, что Сальма дочитала книгу — ту, старую, с пожелтевшими страницами, — и что теперь она читает другую, и что ей хорошо. О том, что Гвен наточила все ножи — и теперь они блестят, и режут, и готовы. О том, что Хельге починил забор — тот, что сломался осенью, — и что теперь там крепко, надёжно, на годы. О том, что Бертран вычистил конюшню — до последней соломинки, до последней

пылилки, — и что лошади стоят чистые, сытые, спокойные. О том, что Ивар сделал новую мазь — от простуды, от боли, от всего, — и что она пахнет мятой и воском. О том, что Марта пересчитала все банки — и их больше, чем она думала, и что зима пройдёт, и что весна будет сытой. О том, что Гуннар написал письмо в город — важное, нужное, с печатью, — и что ответ придёт, и что всё будет хорошо. О том, что Астрид испекла пирог с яблоками — тот самый, который все любят, — и что он ещё тёплый, и что хватит всем. О том, что Сигрид сделала сыр — мягкий, солёный, с травами, — и что он будет готов к утру. О том, что Фелина нашла старую прялку — на чердаке, в пыли, — и что теперь она будет прясть шерсть. О том, что Мариэль связала носки — тёплые, толстые, из той шерсти, что осталась с осени, — и что они как раз по ноге. О том, что Ирма сделала настойку от простуды — горькую, тёмную, целебную, — и что теперь никто не заболеет. О том, что я выздоровела — окончательно, совсем, — и что я снова сильная, и что я снова здесь, с ними, за этим столом.

Мы говорили, ели, пили, смеялись — и смех был тихий, спокойный, без натяжки, без усилия, — и я слышала его и думала: «Вот это — жизнь. Вот это — то, чего я хотела. Не громкого, не яркого, не особенного. А вот этого — простого, тёплого, своего». Тирра сидела рядом со мной и держала меня за руку — её пальцы были маленькие, тёплые, живые, — и я чувствовала, как она дышит, как она улыбается, как она здесь, рядом, и что-то сжималось у меня в груди, и я не знала, что это — радость или слёзы, или и то и другое вместе. Сальма сидела напротив и смотрела на всех с тихой, спокойной улыбкой — той самой, которую я не видела раньше, но которую теперь узнавала, — и в её глазах было что-то, чего не было прежде: покой, принятие, может быть — любовь. Марта сидела во главе стола и командовала — не сердито, а по-хозяйски, — и я видела, что ей нравится, что она нужна, что она держит нас всех, как держат в руках нить, чтобы не распустилось. Гвен сидела с краю и точила нож — вж-ж-ж, вж-ж-ж, — и это было как музыка, как фон, как что-то, что всегда с нами. Бертран сидел у печи и молчал — молчал так, как умел только он: полно, глубоко, тепло, — и его молчание было как стена, за которой можно укрыться. Хельге, Свен и Андерс сидели на скамье и ели — медленно, сытно, с достоинством, — и их жёлтые глаза светились в полумраке, и я думала, что они — часть дома, часть нас, часть этой зимы. Ивар сидел рядом с Тиррой и проверял её руки — осторожно, нежно, как проверяют что-то хрупкое и драгоценное, — и я видела, что он улыбается, и что он счастлив, и что он тоже нашёл своё. Астрид и Сигрид сидели с краю и переглядывались — без слов, одними глазами, — и я знала, что они говорят о чём-то своём, о чём-то сестринском, о чём-то, что не нуждается в словах. Фелина, Мариэль и Тирра сидели вместе и о чём-то шептались — тихо, весело, заговорщицки, — и я видела, как Тирра смеётся, и как Фелина улыбается, и как Мариэль кивает, и думала: вот дружба. Вот то, что останется. Гуннар сидел с книгой и что-то записывал — быстро, ровно, — и я знала, что он записывает этот вечер, что он сохраняет его, что он делает так, чтобы это не исчезло. Ирма сидела в углу и перебирала травы — медленно, спокойно, — и их запах смешивался с запахом еды, дыма, людей, и от этого становилось хорошо, легко, правильно.

И я смотрела на них — на всех, на каждого, — и думала: это — моя семья. Не по крови. По выбору. По жизни. По зиме. По теплу. По хлебу. По сидру. По всему. Я не знала, что так бывает. Я не знала, что можно собрать людей — чужих, случайных, разных — и сделать из них дом. Но это случилось. Это — случилось. И я — счастлива. Тихо. Глубоко. По-настоящему. Как никогда в жизни. Не потому, что всё хорошо — потому что всё трудно, потому что зима, потому что холод, потому что далеко от всего, — а потому что мы вместе, и потому что мы справляемся, и потому что это — наше, и потому что никто этого не отнимет. Снег шёл. Дом жил. Мы были вместе. И это — всё, что нужно.

Глава 3

Однажды вечером, когда мы сидели за столом и ели пирог с вареньем — тёплый, с золотистой корочкой, с тёмной, густой начинкой, которая пахла яблоками и корицей, — я вдруг поняла, что за всё время в этом мире я не слышала ни одного слова, кроме «варенье». Ни «повидло», ни «джем», ни «конфитюр», ни «мармелад» — ничего. Только варенье. Как будто здесь знали одно слово для всего, что можно сварить из яблок, и этого слова хватало. Я спросила Астрид — просто так, между прочим, не думая, что это что-то изменит:

— А повидло вы делаете?

Она посмотрела на меня с недоумением. Точнее, не с недоумением — с тем вежливым непониманием, с каким взрослые слушают вопрос ребёнка о вещах, которых не существует: с терпением, с лёгкой улыбкой, с готовностью объяснить, что так не бывает.

— Что это? — переспросила она.

— Повидло, — сказала я. — Ну, из яблок. Густое. Его можно резать ножом. Оно как варенье, только... другое.

Астрид покачала головой — медленно, задумчиво, как будто пробуя слово на вкус и не находя в нём смысла. Сигрид — тоже. Ивар, который сидел рядом и пил чай, отложил свою чашку — аккуратно, без стука, — и сказал, спокойно, без удивления, как говорят о том, что знают давно и точно:

— Здесь такого нет. Здесь есть варенье. Есть уксус. Есть вино. Но густое яблочное — нет. Как ты говоришь — «резать ножом» — нет. Это что-то из твоего мира.

Я замолчала. Не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что что-то внутри меня дрогнуло — тихо, глубоко, — и я поняла: ещё одно. Ещё одно, чего здесь нет. Ещё одно, что я помню — руками, языком, памятью тела, — но что не имеет здесь имени. И от этого мне стало странно: как будто я стою на границе двух миров, и один мир говорит со мной на языке, которого здесь не понимают, и я должна переводить — не слова, а вкусы, не названия, а само ощущение. Потом я встала — резко, как будто что-то решила, — ушла в кладовую, вернулась с яблоками — теми, что мы оставили на семена и на еду, кислыми, мелкими, некрасивыми, но пахнущими так, что кружилась голова, — и с сахаром. Положила всё на стол — яблоки покатались, сахар зашуршал — и сказала:

— Тогда я покажу. Это просто. Это быстрее, чем варенье. И это хранится дольше.

Они смотрели на меня — все. Астрид, Сигрид, Марта, Фелина, Сальма, даже Тирра, которая сидела рядом со мной и держала меня за руку. И в их глазах было что-то разное: у Астрид — любопытство, у Сигрид — недоверие, у Марты — расчёт, у Фелины — интерес, у Сальмы — тихая радость, у Тирры — восторг. И я начала. Мы взяли яблоки — кислые, которые не годились на еду, — и порезали их, не очищая, вместе с кожурой и сердцевинкой, и нож стучал по доске — тук-тук-тук, — и яблоки пахли сильнее, когда их резали, и этот запах был острый, свежий, живой. Сложили в большой чугунок — тяжёлый, тёмный, с толстыми стенками, который помнил ещё прежних хозяев, — залили водой так, чтобы только покрыло, и поставили на огонь, и огонь зашипел, и вода забулькала, и по дому пошёл пар — яблочный, сладкий, тёплый.

Варили долго, пока яблоки не размякли, пока не превратились в кашу — мягкую, рыхлую, без формы, — и я помешивала деревянной ложкой, и чувствовала, как они поддаются, как разваливаются, как отдают себя. Потом я взяла сито — деревянное, с частой сеткой, — и мы протёрли эту кашу, отделяя мякоть от кожуры и семечек, и работали по очереди — Астрид, Сигрид, Фелина, — и их руки двигались, и мякоть падала вниз, густая, гладкая, тёплая, а кожура оставалась сверху, и её потом отдали курам. Получилась густая, гладкая, тёплая масса — не варенье, не пюре, а что-то между, что-то новое, что-то, чему я не знала названия в их

языке, но знала в своём. Я добавила сахар — много, больше, чем в варенье, — и снова поставила на огонь, и мы варили, помешивая, и я не отходила, потому что знала: чуть зазеваешься — пригорит, и всё пропадёт, и надо будет начинать сначала.

Масса темнела — из золотистой становилась янтарной, из янтарной — коричневой, — и густела, и отставала от стенок, и я чувствовала, как ложка идёт тяжелее, как сопротивление растёт, как повидло набирает силу. Потом я взяла ложку, зачерпнула и перевернула. Повидло не упало. Оно держалось — густое, тяжёлое, живое, — и я смотрела на него, и что-то поднималось во мне, и я думала: вот. Ещё одно. Ещё одно, что я принесла. Ещё одно, что останется. И я сказала, тихо, почти шёпотом:

— Готово.

И Астрид подошла, и посмотрела, и попробовала — пальцем, осторожно, — и её глаза расширились, и она сказала:

— Это... это другое. Это можно резать. Это можно хранить. Это... — она замолчала, подбирая слово, — это лучше.

И я улыбнулась, и кивнула, и подумала: да. Лучше. Не потому, что вкуснее, а потому, что дольше, надёжнее, проще. Потому что это можно сделать из того, что не годится, из того, что выбрасывают, из того, что остаётся. Потому что это — из моего мира, но теперь — и из их.

— Вот, — сказала я. — Это повидло. Его можно резать. Его можно намазывать на хлеб. Его можно класть в пироги. Оно не портится. Оно стоит годами.

Астрид взяла ложку — деревянную, тёмную, отполированную сотнями прикосновений, — попробовала. Замерла. Её лицо изменилось: сначала ничего, потом что-то дрогнуло, потом глаза расширились, потом губы разошлись, и я увидела, как она жуёт — медленно, вдумчиво, как будто пробует не вкус, а что-то большее, что-то, что нельзя назвать словом. Потом она посмотрела на меня — и в её глазах было что-то, чего я не видела раньше. Не удивление — удивление было прежде, когда она пробовала сидр, когда она пробовала шарлотку. Не восторг — восторг был тогда, в первый раз, когда она поняла, что можно делать что-то новое. А что-то похожее на жадность. На голод. На желание знать больше — не из любопытства, а из глубины, из пустоты, которую надо заполнить, из жизни, которую надо прожить. Она сказала — коротко, требовательно, без вежливости, без паузы:

— Ещё. Покажи ещё.

И я показала. Джем — с кусочками фруктов, не протёртый, а рубленый, с сахаром и соком, чтобы ягоды и яблоки держали форму, чтобы в каждой ложке было что-то живое, что-то, что можно разжевать, почувствовать, узнать.

Мы сварили его из яблок — тех, что остались, кислых, крепких, — и из ягод, которые собрали осенью и засушили: тёмных, сморщенных, но сохранивших в себе солнце, — и он получился ярким, густым, с целыми кусочками, которые блестели на свету, как маленькие драгоценности. Конфитюр — с пряностями, с корицей, с гвоздикой, с чем-то ещё, что Ирма добавила и не сказала, что это, — и я не спрашивала, потому что понимала: у неё есть свои тайны, и это правильно, и это хорошо.

Конфитюр получился тёмным, сложным, с запахом, который нельзя было разложить на части: корица, гвоздика, мёд, что-то ещё, что-то травяное, лесное, древнее.

Мармелад — из яблочного пюре с мёдом, высушенный на противне, нарезанный квадратиками, обваленный в сахаре, — и он был как детство, как что-то из другого мира, из другой жизни, и я смотрела на него и вспоминала — смутно, неточно, — что-то, чего уже не было, но что жило во мне.

Всё это мы делали ночью — втроём, вчетвером, впятером, — и никто не спал, и никто не хотел спать, и дом наполнялся запахами, от которых кружилась голова: яблоки, сахар, корица, мёд, дым, тепло, — и эти запахи смешивались, и создавали что-то новое, что-то, что нельзя было купить, что-то, что мы делали сами.

Я стояла у печи — жаркой, тёмной, живой, — помешивала, смотрела, как Астрид и Сигрид повторяют за мной, как их руки двигаются быстрее, увереннее, как они запоминают не слова, а движения, не рецепты, а ритм. Фелина записывала — аккуратно, ровно, на листе бумаги, который потом положит в книгу, — и я видела, как она старается, как она гордится, как она понимает, что это важно. Марта считала — сколько яблок ушло, сколько сахара, сколько банок, сколько можно продать, — и её губы шевелились, и пальцы загибались, и я знала, что она уже думает о весне, о ярмарке, о деньгах. Сальма пробовала — каждое, по очереди, — и её лицо становилось мягче, и она улыбалась, и я думала, что она тоже помнит что-то, что-то из своего детства, из своей прежней жизни, что-то, что было до всего этого. Тирра облизывала ложку — медленно, тщательно, — и её глаза блестели, и щёки были красные, и я думала: вот. Вот ради этого. Ради того, чтобы ребёнок облизывал ложку и улыбался. Ради того, чтобы у неё было это — сладкое, тёплое, своё. И я думала: «Вот оно, бессмертие. Не в книгах, не в камнях, не в именах. А в этом. В ложке повидла. В кусочке мармелада. В запахе конфитюра. В том, что они запомнят, что они передадут, что они сохраняют». И я улыбнулась, и помешала ещё раз.

Утром мы поставили банки на стол — рядами, как солдат, — и я смотрела на них и не могла наглядеться: варенье, тёмное, густое, с целыми ягодами, которые плавали в сиропе, как воспоминания; повидло, плотное, коричневое, которое можно было резать ножом, как хлеб, как сыр, как что-то основательное и надёжное; джем, яркий, с кусочками фруктов, которые блестели на свету, как маленькие витражи; конфитюр, тёмный, пряный, с запахом корицы и гвоздики, который расходился по дому, даже когда банки были закрыты; мармелад, нарезанный квадратиками, обваленный в сахаре, который лежал на блюде и был похож на драгоценности, на что-то из сказки, на что-то, чего не бывает. Пятнадцать банок, двадцать, тридцать — я сбилась со счёта, — и все они были наши, сделаны нашими руками, в нашем доме, в эту зиму. Астрид смотрела на них, и на лице у неё было выражение, которого я не видела раньше. Гордость. Настоящая. Не та, которую показывают — с улыбкой, с жестом, с желанием, чтобы заметили, — а та, которую чувствуют: тихая, глубокая, которая живёт в груди и не требует слов. Она сказала — не мне, а себе, но я услышала:

— Мы это сделали. Мы. Сами.

— Ты это сделала, — сказала я. — Я только показала.

— Нет, — сказала она, и в её голосе была твёрдость, которой я не ожидала. — Ты показала — значит, ты сделала. Без тебя мы бы не знали. Мы бы варили варенье всю жизнь и не знали, что бывает повидло.

Я не стала спорить. Я просто кивнула — потому что она была права, и потому что это было важно, и потому что иногда нужно принять благодарность, даже если кажется, что ты её не заслужил. И мы сели завтракать — с хлебом, ещё тёплым, с маслом, которое таяло на корочке, с повидлом, с джемом, с мармеладом, — и стол был как праздник, как что-то, чего не было раньше, как доказательство. Тирра ела мармелад и улыбалась — медленно, смакуя, как будто пробовала что-то волшебное, — и её лицо было счастливым, по-настоящему счастливым, и я смотрела на неё и думала: вот. Вот что значит — дать ребёнку что-то, чего у него не было. Не просто еду, не просто тепло — а вот это: сладость, радость, память, которая останется на всю жизнь. Сальма намазывала повидло на хлеб — тонко, аккуратно, как будто делала что-то важное, — и говорила, что это лучше варенья, и я видела, что она не льстит, что она говорит правду, и что ей хорошо. Марта считала банки — вслух, по пальцам, — и говорила, что к весне мы продадим всё, и это будет золото, настоящее золото, которое можно обменять на муку, на соль, на ткани, на всё, что нужно, чтобы прожить ещё один год. Гуннар записывал рецепты в книгу — аккуратно, ровно, с той тщательностью, которая была его способом любить, — чтобы не потерялись, чтобы остались, чтобы жили, — и я знала, что эти страницы переживут нас всех, и что через сто лет кто-то прочтёт их и сварит повидло, и не будет знать, откуда оно, но оно будет.

Снег перестал на четвёртый день — тихо, незаметно, как будто небо наконец выдохнуло, как будто кто-то там, наверху, устал и решил отдохнуть. Утро выдалось ясное, морозное, с тем особенным светом, который бывает только после долгого снегопада: белым, чистым, режущим глаза, от которого снег искрился и переливался, как рассыпанный сахар, и воздух был такой прозрачный, что казалось, можно увидеть каждый звук. Я вышла на крыльцо и замерла — двор был завален так, что забор виднелся только наполовину — тёмные доски торчали из белого, как кости, — а дорога к тракту исчезла совсем, растворилась в белом поле, и нельзя было понять, где она была, где она есть, где она будет. Тишина стояла такая, что слышно было, как где-то далеко, за холмом, кричит ворона — одиноко, протяжно, как будто зовёт кого-то, — и этот крик был единственным звуком в мире, и от него становилось и жутко, и хорошо, и спокойно.

Мы разгребали снег с утра — все, кто мог держать лопату, — и работали молча, тяжело, с тем особым удовольствием, которое бывает, когда делаешь что-то простое и нужное: раз, два, раз, два, — и снег летит в стороны, и дорожка растёт, и мир становится шире. Бертран и волки чистили двор — Хельге, Свен и Андерс работали лопатами, и их жёлтые глаза блестели на морозе, и от них шёл пар, и снег под их ногами скрипел; Гвен и Марта пробивали дорожку к сараю — Гвен резала снег, как ножом, а Марта командовала, и её голос звучал резко и ясно в морозном воздухе; Сальма и Ирма — к колодцу, и Сальма устала быстро, но не сдалась, и я видела, как она выпрямляется, как дышит глубоко, как берёт лопату снова; эльфийки — к пристройке, и их движения были легки, точны, как будто они делали это всегда, как будто снег был для них чем-то знакомым.

Я помогала там, где не хватало рук, — то здесь, то там, — и к полудню мы расчистили калитку и часть дороги к тракту, и я смотрела на эту дорогу и думала: вот. Ещё немного — и мы не отрезаны. Ещё немного — и мы связаны с миром. К вечеру, когда солнце уже клонилось к западу — красное, большое, низкое, — и снег начал отливать синевой, и тени стали длинными, и мороз усилился, я услышала за забором чужой голос.

Сначала я подумала, что мне показалось — просто ветер, просто снег, просто игра мороза. Потом — что это кто-то из деревни: забрёл, заплутал, идёт к нам. Но голос был незнакомый — низкий, хриплый, — и он говорил не по-нашему: слова были понятны, но интонация чужая, и в ней было что-то особенное, что-то, что я узнала сразу, — так говорят люди, которые долго шли, которые устали, которые уже не верили, что найдут жильё, и вдруг увидели свет, дым, жизнь. Я вышла за калитку — снег заскрипел под ногами, мороз ударил в лицо, — и остановилась. На дороге, по колено в снегу — в том месте, где мы ещё не расчистили, где снег лежал нетронутый, белый, глубокий, — стояла лошадь: худая, усталая, с обвисшей гривой, с рёбрами, которые проступали под кожей, с глазами, в которых была та особенная тоска, какая бывает у животных, которые слишком долго шли и слишком мало ели. Она была запряжена в небольшие сани — лёгкие, узкие, с низкими бортами, — и в санях лежало что-то, укрытое рогожей: товар, наверное, или вещи, или что-то, что этот человек вёз. А рядом с санями, держа лошадь под уздцы — руки в рукавицах, рукавицы в снегу, — стоял мужчина. Немолодой, лет пятидесяти, может, больше, в добротном, но занесённом снегом тулупе — тулуп был хороший, крепкий, видно, что не бедный человек, — в шапке, из-под которой виднелась седая борода, мокрая от инея и дыхания. Он был весь белый — от снега, от инея, от дороги, — и когда он увидел меня, то снял шапку — медленно, с усилием, как снимают то, что примёрзло, — и сказал, и голос его был тихий, вежливый, но в нём была та усталость, от которой не спрячешься:

— Мадам, простите, что без приглашения. Я заблудился. Ехал в Гнилые Ключи, сбился с дороги, а тут — ваш огонь. Я увидел дым и пошёл на него. Меня зовут Корнелиус Ванн. Я купец. Еду из Вельдена с товаром. Если позволите — обогреюсь. Лошадь устала. Я тоже.

Я смотрела на него — на его тулуп, на его сани, на его лошадь, на его лицо, на его руки, — и думала: купец. Настоящий. Из Вельдена. Не из деревни, не из леса, не из ниоткуда — из города, откуда идут товары, деньги, новости, жизнь. Он заблудился. Он застрял. Он — здесь.

И это был шанс. Я знала это сразу, как знала всё важное в этом мире: сердцем, а не головой. Не расчётом, не выгодой — чем-то глубже, чем-то, что шепнуло: вот. Возможность. Связь. Будущее.

— Входите, — сказала я. — Гвен, помоги лошади. Бертран, поставь сани под навес.

Он вошёл. В сенях он долго отряхивал снег — тулуп, шапку, рукавицы, — и снег падал на пол, и таял, и оставлял тёмные пятна, и я видела, как он устал, как ему тяжело, как он держится только на чём-то внутреннем, на упрямстве, на привычке. Потом он прошёл в дом — и остановился на пороге, потому что дом был полон. Пятнадцать человек. Тепло. Свет. Запахи — хлеб, дым, травы, яблоки, люди. Он смотрел на нас — на всех, на каждого: на Марту с её счетами, на Гвен с её ножом, на Бертрана у печи, на Хельге, Свена и Андерса с их жёлтыми глазами, на Астрид и Сигрид с их мукой на руках, на Сальму с книгой, на Фелину, Мариэль, Тирру, на Ивара с его инструментами, на Ирму с её травами, на Гуннара с его бумагами, — и на лице у него было выражение, которое я видела редко: удивление. Настоящее. Не показное. Не вежливое. А то, которое берёт за горло и не отпускает.

— У вас... — он запнулся, и я видела, как он ищет слово, как не находит, как берёт первое, что подходит, — ...у вас тут целый двор.

— Да, — сказала я. — Садитесь. Чаю?

Он сел — тяжело, с облегчением, как садятся те, кто долго стоял, — и его руки дрожали, и я видела это, и не сказала ничего, потому что знала: иногда нужно просто дать человеку согреться, не спрашивая, не жалея, не суетясь. Астрид налила ему чаю — горячего, тёмного, с травами Ирмы, от которого шёл пар и пахло мятой и чем-то ещё, — и поставила кружку перед ним, и он обхватил её обеими руками, и я видела, как тепло входит в него, как он оживает, как что-то в его лице меняется. Сигрид поставила на стол хлеб — тёмный, свежий, ещё тёплый, — масло, сыр, пирог, и всё это было просто, обычно, но я видела, как он смотрит на это, как глотает, как не верит. А я достала из кладовой то, что мы делали последние дни — повидло, джем, мармелад, — и поставила всё перед ним: в маленьких глиняных плошках, красиво, как умели только Астрид и Сигрид, — и я видела, как его глаза расширились, как он наклонился, как вдохнул запах, как что-то дрогнуло в нём. И я поняла: он никогда такого не видел. Он купец, он видел многое, он знает цену товару, — но такого он не видел. И я подумала: вот. Вот оно. Началось.

Корнелиус посмотрел на плошки — маленькие, глиняные, тёмные, с глазурью, которая блестела в свете лампы, — потом на меня, потом снова на плошки, и я видела, как он пытается понять, что перед ним, как перебирает в голове всё, что знает, и не находит. Он был купец — это было видно по тому, как он смотрел: не на еду, а на товар, не на вкус, а на цену, — и я знала, что он уже думает, уже считает, уже прикидывает.

— Что это? — спросил он, и в его голосе было не любопытство, а что-то более серьёзное, что-то, что заставило меня насторожиться и обрадоваться одновременно.

— Повидло, — ответила я. — Джем. Мармелад. Попробуйте.

Он попробовал. Сначала повидло — намазал на хлеб, густо, щедро, откусил, прожевал медленно, вдумчиво, как пробуют вино, а не еду, — и я видела, как он замер, как что-то прошло по его лицу, как он отложил хлеб и посмотрел на плошку другими глазами. Потом джем — с целыми кусочками яблок, яркий, густой, янтарный, который блестел на ложке, как драгоценность, — и он ел его медленно, смакуя, закрывая глаза, как будто слушал музыку, а не пробовал еду. Потом мармелад — квадратики, обваленные в сахаре, кисло-сладкие, тающие во рту, как воспоминание о детстве, — и он держал один квадратик в руке, и смотрел на него, и не ел, а просто смотрел, как смотрят на что-то невероятное, на что-то, чего не может быть. Он ел молча. Долго. И за это время я успела испугаться, обрадоваться, засомневаться, поверить. Потом он отложил ложку — аккуратно, без стука, — посмотрел на меня и сказал, и голос его

был другой: не усталый, не вежливый, а деловой, точный, как у человека, который знает, что говорит:

— Я двадцать лет в торговле. Я видел варенье. Я видел вино. Я видел сыр. Но это... — он показал на плоски, и его рука дрогнула, — это я не видел. Это — новое. Это — дорогое. Это — то, что я могу продать в столице. Втридорога.

И я почувствовала, как что-то поднимается во мне — не гордость, не радость, а что-то большее: подтверждение. Подтверждение, что мы сделали не просто еду, а товар, что мы сделали не просто что-то для себя, а что-то для мира, что-то, что имеет цену, что-то, что можно продать, обменять, прожить. Астрид, стоявшая у печи — я не видела её лица, но слышала дыхание, — вдруг сказала, и в её голосе была та смелость, которая берётся из глубины, из уверенности, из знания:

— А сидр?

Корнелиус обернулся к ней — резко, как будто забыл, что она есть, что кто-то ещё есть в этой комнате, — и его глаза сузились.

— Какой сидр?

— Наш, — сообщила Астрид, и я видела, как она выпрямилась, как она стоит, как она говорит, — и это была не служанка, не беглянка, а хозяйка, женщина, человек. — Безалкогольный. Яблочный. С мёдом и корицей. Мы делаем его с осени. Он в холодной. Двенадцать больших бутылей и двадцать маленьких.

Корнелиус посмотрел на меня — долго, испытующе, как будто проверял, правда ли это, — потом на Астрид, потом снова на меня.

— Покажите, — сказал он, и это было не просьбой, а требованием, но я не обиделась, потому что понимала: так говорят люди, которые нашли что-то важное.

Я встала — быстро, легко, как будто ждала этого, — взяла фонарь, и пошла в холодную. Астрид — за мной, Сигрид — следом, и мы шли через двор, и снег скрипел под ногами, и мороз щипал щёки, и фонарь бросал жёлтый свет на белое, и тени двигались, как живые. В холодной было темно и морозно — изо рта шёл пар, и я чувствовала, как холод пробирается под одежду, под кожу, к костям, — и бутылки стояли в углу, покрытые инеем, золотистые сквозь мутное стекло, как сокровища, как что-то, что ждало своего часа. Я взяла одну — маленькую, — и стекло было холодное, обжигающее, и я вытерла её тряпицей, и понесла в дом, и чувствовала, как она тяжелеет в руках, как будто наполняется чем-то ещё, чем-то, что нельзя увидеть. Корнелиус ждал за столом — сидел неподвижно, как будто боялся спугнуть, — и я поставила бутылку перед ним, и откупорила, и пробка вышла с тихим хлопком, и налила в кружку. Сидр был прозрачный, золотистый, с лёгкой пеной сверху, и пахло яблоками, мёдом и корицей, и этот запах расходился по комнате.

Корнелиус взял кружку — обеими руками, как берут что-то драгоценное, — понюхал, медленно, глубоко, втягивая запах, как втягивают воздух после долгого нырка, отпил. Замер. И я видела, как он замер: не телом, а чем-то внутри, как будто остановилось время, как будто он оказался в другом месте, в другом году, в другой жизни. Потом отпил ещё — уже не пробуя, а просто пья, просто наслаждаясь, — и поставил кружку на стол, и сказал тихо, почти шёпотом, как говорят о чём-то сокровенном:

— Это... — он замолчал, и я видела, как он ищет слово, как не находит, как берёт первое, что подходит, — ...это лучше вина. Это — для детей, для женщин, для стариков. Это — то, что я продам в столице за бешеные деньги. Сколько у вас?

— Двенадцать больших, — сказала я, и голос мой был ровный, спокойный, хотя внутри всё дрожало. — Двадцать маленьких. Всё — на продажу.

— Всё беру, — сказал он, и в его голосе была не жадность, а решимость, та решимость, которая берётся из знания. — Всё. До последней бутылки. Плачу золотом. Сейчас.

Я посмотрела на Марту. Марта посмотрела на меня — и в её глазах было что-то, чего я не видела раньше: не расчёт, не холод, а что-то тёплое, почти нежное, как будто она гордилась, как будто она радовалась, как будто она наконец поверила, что мы не просто выживаем, а живём. Потом кивнула — коротко, по-своему, — и я знала, что это значит: да. Согласна. Продавай. Я повернулась к Корнелиусу.

— Хорошо, — сказала я. — Всё — ваше. Но — с условием. Вы вернётесь. Весной. С заказами. И с ценой. Настоящей. Не грабительской.

— Клянусь, — сказал он, и его рука легла на сердце, и в этом жесте была не театральность, а что-то старое, настоящее, как присяга. — Я — купец. Моё слово — золото. Я вернусь. Я привезу заказы. Я сделаю вас богатыми.

Он заплатил в тот же вечер — золотом, монетами, которые блестели на столе, как маленькие солнца, — щедро, больше, чем я ожидала, больше, чем мы смели просить. Варенье, повидло, джем, конфитюр, мармелад — всё ушло в сани, упакованное, уложенное, укрытое. Сидр — в соломе, в ящиках, в бутылках, обёрнутых холстиной, — тоже, и я видела, как Корнелиус трогает каждую бутылку, как проверяет, как будто боится, что что-то разобьётся, что что-то пропадёт. Купец уехал на следующее утро — рано, до света, когда небо было серым и снег казался синим, — с полными санями, с банками, с плосками, с мармеладом, с сидром, — и я стояла на крыльце и смотрела, как его сани исчезают за поворотом, в белом поле, как они становятся меньше, меньше, точкой, ничем. За моей спиной стояли пятнадцать человек. Пятнадцать. И все смотрели на меня — не на сани, не на дорогу, а на меня, — и в их глазах было что-то разное: у Астрид — гордость, у Сигрид — радость, у Марты — удовлетворение, у Сальмы — спокойствие, у Тирры — восторг, у Бертрана — молчаливое одобрение, у Гвен — что-то похожее на уважение, у Хельге — удивление, у Ивара — облегчение, у Ирмы — тихая улыбка, у Гуннара — расчёт, у Фелины — надежда, у Мариэль — любопытство. И я стояла и чувствовала, как что-то во мне растёт, как что-то наполняется, как что-то становится на место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.